

СЛУЖА ТАИНСТВЕННОЙ ОТЧИЗНЕ...

Валерий Николаевич Кузнецов родился в 1941 году в городе Чкалове (ныне это Оренбург). Окончил Киевский топографический техникум и Литературный институт имени А.М. Горького.

Печатался в журналах «Урал», «Смена», «Москва».

Автор нескольких книг стихотворений, книги очерков русской словесности «Я посетил места...», литературной обработки и подготовки к изданию рукописи исторического романа участника Гражданской войны Ивана Венецева «Урал — быстра река».

Лауреат Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка» за книгу стихов «Преображение» (2010), региональных литературных премий имени П.И. Рычкова (2014, 2018) и др.

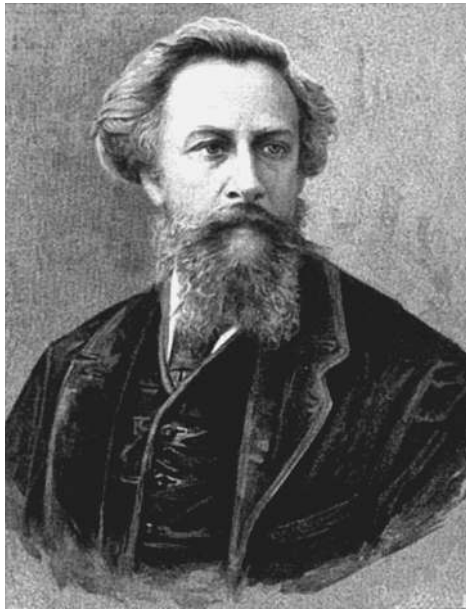
Член Союза писателей России. Живет в Оренбурге.

КУЛЬТУРА

С 1853 года в российских столичных журналах начали появляться стихи, подписанные именем «Граф Толстой». Вот и в 1856 году читатели «Отечественных записок» увидели в пятом номере стихотворение с начальной строкой: «Средь шумного бала, случайно...», обратившее на себя всеобщее внимание. Незадолго до этого публицист А.И. Кошелев писал историку А.Н. Попову: «Мы все в восторге от стихов графа Толстого... Как его зовут? Кто он такой? Стихи его, помещенные в «Современнике», просто чудо. Хомяков, Аксаков (Константин, старший сын С.Т. Аксакова. — В.К.) их все наизусть знают. Хомяков <...> говорит: «После Пушкина мы таких стихов не читали...»»

На далекой окраине империи у читающих обитателей Оренбурга, отделенных от столицы «дорогами, превосходящими все самое чудовищное, что может создать самое горячее воображение», были свои основания заинтересоваться публикациями. В 1842 году они впервые увидели это имя под очерком «Два дня в киргизской степи», со страниц которого пахло кизячным дымком степных просторов, экзотикой Востока — неведомой для остальной России жизнью, открытой недавно в журнальной периодике Владимиром Далем. За год до того военный губернатор В.А. Перовский, завершая свое первое правление краем, пригласил к себе на кочевку — летнюю резиденцию на речке Белгуш (ныне Саракташский район Оренбуржья. — В.К.) — своего племянника по родной сестре Анне Алексеевне, тогда двадцатитрехлетнего чиновника Собственной Его Императорского Величества канцелярии Алексея Толстого, «любезного хашку, милого ханчика», как звал воспитанника другой дядя, Алексей Перовский.

Приехавший из Оренбурга в июне 1841 года гость написал своему сослуживцу по канцелярии (приведенные выше проклятия дорогам — из этого



*Алексей Константинович Толстой
(1817–1875). Портрет по фотографии
60-х годов XIX столетия*

письма): «Моего дядю (В.А. Перовского. — В.К.) я нашел в состоянии худшем, чем ожидал. Так как опухоль не вскрывалась, то он очень мучается, и врач, доктор Эверсман, которого он выписал из Казани, сказал мне, что операции не избежать. Я сделаю решительно все, чтобы пробыть здесь несколько дней и уехать, не теряя времени, но так как я уже предвижу, что не могу не запоздать, то умоляю Вас, дорогой друг, извинить меня перед моими начальниками, если мое отсутствие будет замечено».

Вывод о служебном рвении автора письма, как будто очевидный, мягко говоря, не соответствовал бы действительности. Вот другие, исповедальные строки того же автора: «Не хочется мне теперь о себе говорить, а когда-нибудь я тебе расскажу, как мало я рожден для служебной жизни и как мало я могу принести ей пользы... Вообще вся наша администрация и общий строй — явный неприятель всему, что есть художество, начиная с поэзии и до устройства улиц... Так знай же, что я не чиновник, а художник».

Нет, он не спешил покидать гостеприимную кочевку, превращенную прихотливым Перовским в степной

вариант рая. Об этом говорит начало его очерка: «Уже около месяца жили мы на кочевке, верстах в полтораста от Оренбурга. Кочевка расположена между высокими холмами, составляющими начало Уральского хребта и покрытыми дубняком и березняком... Почти все они имеют ту же оригинальную форму, почти все они увенчаны стенообразным гребнем сланцевого камня, и в каждой долине протекает небольшой ручей, с обеих сторон скрытый кустарником. Долины эти изобилуют разными ягодами, а более всего особенным родом диких вишен, растущих в высоком ковylie едва приметными кустами. Им-то, кажется, должно приписать неимоверное множество тетеревей, водящихся в этих местах...»

Уже на закате дней, признаваясь в юношеской эстетической «тоске по родине — по Италии», поэт говорит и о другой страсти — к охоте: «С двадцатого года моей жизни она стала во мне так сильна и я предавался ей с таким жаром, что отдавал ей все время, которым мог располагать. В ту пору я состоял при дворе императора Николая (в 1843 году А.К. Толстой получил придворное звание камер-юнкера. — В.К.) и вел весьма светскую жизнь... тем не менее часто убегал от нее и целые недели проводил в лесу, часто с товарищами, но обычно один». Да, богатыря Толстого, который завязывал узлом серебряные ложки, винтом скручивал кочергу, один ходил на медведя, не могла устроить такая охота: «В течение часа мы однажды втроем убили шестьдесят три штуки... Тетеревиная стрельба наша напояла мне кровопролитные охоты в немецких парках — охоты, которых, откровенно сказать, я терпеть не могу».

Понятен поэтому поворот очерка: «Легко себе можно представить, как я обрадовался, когда пришло на кочевку известие, что за Уралом, в Киргизской степи, показались сайгаки. Я вспомнил об описаниях этого животного в натуральных историях, где о нем всегда говорится как об одной из быстрейших и недоступнейших антилоп. Некоторые

из охотников, бывшие в хивинской экспедиции (военном походе В.А. Перовского в 1839 году. — *В.К.*), рассказывали нам, как на возвратном пути, весной, им случалось встретить сайгаков и как они тщетно старались догнать их наилучшими скакунами... Я горел нетерпением увидеть сайгака, почти не смея надеяться на удачу охоты».

Мир в глазах рассказчика словно только что сотворен, и он, художник, видит и передает его со всей свежестью первооткрытия — это под силу только лирическому поэту:

«От кочевки до Сухореченской крепости, где нам надлежало ночевать, а потом переехать через Урал, было верст двести. Езда в Оренбургской губернии необыкновенно быстра, степные дороги гладки, как паркет, а башкирские лошади неутомимы. Часов в четырнадцать мы в двух тарантасах проскакали двухсотверстное пространство и еще нашли время выкупаться в Сакмаре и пообедать в одной из линейных станиц. Места, через которые мы проезжали, были очень разнообразны и живописны: сначала такие же холмы, как на кочевке, потом широкие долины. Сакмара, отсвечивающая сквозь лес серебристых тополей, цветущая степь, а вдаль — голубые Губерлинские горы... Часов в девять вечера мы приехали в Сухореченскую крепость и остановились у станичного атамана. Перед его домом казаки забавлялись стрельбей в цель... Настрелявшись с ними вдоволь и выкупавшись в Урале, мы легли на дворе на свежем сене и заснули под говор атамана, рассказывающего нам, как его взяли в плен киргизы и как он от них убежал.

Солнце едва начинало всходить, а тарантас наш уже ехал по берегу Урала, окруженный конвоем башкирцев. Переезд через реку был как нельзя более живописен. Крутые берега утеса, тарантас, до половины колес погруженный в воду, прыгающие лошади, башкирцы, вооруженные луками, наши ружья и сверкающие кинжалы — все это, освещенное восходящим солнцем, составляло прекрасную и оригинальную картину. Урал в этом месте (Коктугайский брод. — *В.К.*) не

широк, но так быстр, что нас едва не унесло течением.

На другой стороне степь приняла совершенно иной вид. Дорога скоро исчезла, и мы ехали целиком по крепкой глинистой почве, едва покрытой сожженной солнцем травой. Степь рисовалась перед нами во всем своем необъятном величии, подобная слегка взволнованному морю. Вдруг один башкирец остановил коня и протянул руку. Последовав глазами направлению его пальца, я увидел несколько светло-желтых точек, движущихся на горизонте: то были сайгаки. Один из нас сел на башкирскую лошадь, в надежде, что успеет как-нибудь к ним подъехать, но едва сайгаки увидели эти приготовления, как пустились бежать, несмотря, что нас разделяло несколько верст...»

Охотники разбили стан у подножия высокого, протяженного, сложенного из яшмы утеса Кук-Таш (Синий Камень). В полуденную жару поэт наблюдал, как сайгаки «бежали к ручью огромными стадами. Чем более я всматривался в даль, тем более открывал их на горизонте: они тянулись отовсюду. Вся степь, исключая какого-нибудь десятиверстного пространства вокруг нас, была ими покрыта. Я думаю, тут было несколько тысяч».

Это была уже другая охота. Несмотря на скорость бега и чуткость животных, в первый день сорок охотников убили более пятидесяти сайгаков, на второй день — более ста, и нескольких — сам рассказчик. «Обед наш состоял большей частью из сайгачины». После обеда башкирцы соревновались в стрельбе из лука, борьбе и «пробовании силы». Здесь Толстой несколько раз выходил победителем, получив от башкир «имя джигита».

Лирическое окончание очерка близко к поэзии в прозе:

«Когда настала ночь, мы все вместе направились верхами в Сухореченскую крепость. Казаки затаили песню, и голоса их терялись в необъятном пространстве, не повторяемые ни одним отголоском... Песни эти отзывались то глубоким унынием, то отчаянной удалью и время от времени были

приправляются такими энергическими словами, каких нельзя и повторить. Поезд этот запечатлелся в моей памяти со всеми его подробностями. Как теперь вижу я небо, усеянное звездами, и степь, похожую на открытое море; как теперь слышу слова:

Дай нам Бог, казаченькам, пожить
да послужить,
На своей сторонушке головки
положить...»

Ни это путешествие, ни проба пера не были первыми для Толстого. Он родился в Санкт-Петербурге 24 августа (5 сентября) 1817 года. После рождения сына мать разошлась с мужем, графом К.П. Толстым. Алёшу воспитывал ее брат Алексей Перовский, писатель, публиковавшийся под псевдонимом Антоний Погорельский, автор известной детской сказки «Черная курица, или Подземные жители». Малороссию (Украину), где поэт провел счастливые детские годы, он считал «своей настоящей родиной». Подростком он был представлен будущему императору Александру II, своему ровеснику, допущен в круг его детских общений. В десятилетнем возрасте мать с дядей взяли его в Германию, где в Веймаре очень юный поэт («с шестилетнего возраста я начал марать бумагу и писать стихи») сидел на коленях у Гёте, переводами из которого отозвался через сорок лет.

Тринадцатилетним Алексей Толстой с матерью и дядей путешествовал по Италии. Это были два феерических месяца! Живое знакомство с греческой и римской историей, древностями искусства — на открытом воздухе и в музеях, посещения всемирно известных галерей живописи и мастерских художников, общение с друзьями Пушкина — Соболевским, Шевыревым, Карлом Брюлловым... Весной 1831 года он как бы прошел университетский курс и в дневнике, неожиданно зрелом, показал, что умеет смотреть, чувствовать и мыслить.

Он уже тогда знал, что «нет другой такой вещи, для которой стоило бы жить, кроме искусства».

Из письма Толстого к будущей жене Софье Андреевне Миллер: «Во мне есть постоянная грусть каждого мгновения; никогда с тех пор, как я стал мыслить, а началось это в ранней юности, я не был в согласии с самим собой...» Да, его творчество полно драматизма жизни, но в быту, в дружеской переписке «бьет фонтан» юмора, иронии, остроумной веселости до озорства. Он объяснял это так: «Я понимаю, отчего природы такие глубоко печальные, как Мольер и Гоголь, могли быть такими комиками. Чтобы хорошо передать что-нибудь... нужно быть вне этого, так же как надо выйти из дому, чтобы срисовать фасад здания». Отсюда на противоположном от его «серьезных жанров» полюсе — уникальное явление Козьмы Пруткова, чьи афоризмы в начале XXI века с рекламным отсутствием меры прокатывало современное радио.

Миф Козьмы Пруткова родился в шумных дружеских сходках молодых, даровитых и фрондирующих аристократов братьев Жемчужниковых — Алексея и Владимира (иногда к ним присоединялся третий брат, Александр) и их двоюродного брата Алексея Толстого. Владимир Жемчужников, составивший «Полное собрание сочинений» Козьмы Пруткова, первое издание которого вышло в 1884 году, а двенадцатое (!) в 1916-м, объяснял, что их герой «художнически создавался» в той эпохе, «когда всякий, без малейшей подготовки, брал на себя всевозможные обязанности (как это знакомо! — В.К.), если Начальство на него их налагало». Девиз одного из таких высокопоставленных чиновников — Клейнмихеля — «Усердие все превозмогает» они сделали афоризмом своего подопечного.

Дух Пруткова витал где хотел, во всей литературе послепушкинских 40–50-х годов. Все, к чему прикасался он, «разрабатывая темы» оригинальной и подражательной поэзии, вульгарного романтизма, модного культа поэзии Гейне, культов Греции и Испании, обретало выражение «гениального идиотизма». Создатели Пруткова знали тайны соседства великого и смешного.



В 2015 году в Архангельске, напротив здания Литературного музея на улице Чумбарова-Лучинского, открыли памятник знаменитому литературному персонажу, уроженцу Архангельской области Козьме Пруткову

Да, «эолова арфа», отзывающаяся на все, но — безнадежно расстроенная...

Отзываясь на всё и всё доводя до абсурда, Козьма Прутков, по замыслу «отцов-создателей», оставался самым собой: отставным гусаром, пожизненным директором Пробирной палатки, действительным статским советником со Св. Станиславом I степени, тщеславным и самодовольным, самоуверенным до грубости. В горделивой позе его портрета можно усмотреть доведенные до предела самонадеянной ограниченности черты пародируемого романтического поэта Бенедиктова. Не стареет один из «прутковских ше-

девров», вышедший из-под пера Толстого:

«Вы любите ли сыр?» —
спросили раз ханжу,
«Люблю, — он отвечал, —
я вкус в нем нахожу».

К «прутковяне» тяготеет толстовская озорная сатира: «Сон Попова», «История Государства Российского от Гостомысла до Тимашева»...

Время несло и свои печали. В декабре 1857 года окончился земной путь пламенного Перовского, дважды управлявшего Оренбургским краем. Современник писал: «Он скончался в Ореанде, императорской вилле, на Южном берегу Крыма, и похоронен в церкви монастыря Святого Георгия (близ Севастополя. — В.К.). Умер он как герой и как философ: своему врачу... велел... сказать час или по крайней мере день смерти, заранее заказал гроб... сделал все распоряжения относительно наследства и скромных похорон и спокойно испустил дух».

Толстой — Софье Миллер: «...сегодня мы отнесли дядю в церковь; мы несли его на руках; дорога была покрыта зеленью — лавровые ветки, ветки розмарина в цвету... Сад полон птицами, которые щебечут, особенно много дроздов. В лучах солнца пляшут мириады мушек...»

Жизнь, как всегда, спорила с тлением... С дядей он хоронил, может быть, самое противоречивое из поколений России. Монархисты без страха и упрека, герои-победители в Отечественной войне 1812 года, они, возвращаясь из побежденной либеральной Франции, принесли в душах семена грядущих поражений. Чуткий художник Толстой, на которого время часто смотрело глазами братьев Перовских, был во многом сыном этих противоречий. Он публиковал свои былины в «Вестнике Европы» западника Стасюлевича, отстаивал европейский путь развития России, иронизировал над «кучерской одеждой, в которой щеголяли... Константин Аксаков и Хомяков» — славянофилы, но был ли он западником? С 1857 года он перестал

надцать языков, бегло, безукоризненно переводила «с листа», знала мировую историю, литературу, искусство, была незаурядно музыкально образована — низкие, мягкие, сочные тона ее голоса волновали не только Толстого. Состояние, близкое к влюбленности в нее и полному доверию, испытывали многие из окружения поэта. Она не была красивой — качества ума, доброта, грация делали ее прекрасной.

У них была почти невозможная между мужчиной и женщиной любовь-дружба: «Я ощущаю такую потребность говорить с тобой о искусстве, о поэзии, поделиться с тобой всеми моими мыслями...» Главный мотив его писем в их громадной по объему переписке один: «Я все отношу к тебе: славу, счастье, существование, без тебя ничего не останется, и я себе сделаю отвратительным».

И тем не менее одна женщина испытывала непреодолимую неприязнь к Софье Миллер — мать Толстого, которая и слышать не могла об этом браке сына. Поэт любил их обеих, и душа его, по свидетельству Владимира Жемчужникова, «разрывалась на части».

В Крымскую войну, в 1855 году, Толстой в чине майора направился в действующую армию. Под Одессой, из-за отсутствия докторов ухаживая за тифозными однополчанами, заразился сам. Болезнь выкосила полторы тысячи из состава полка — больше половины, «без ухода» умирали «по 20 зараз». Приехавшая в полк, несмотря на светские условности и двусмысленность их положения, Софья Андреевна выходила больного.

Вскоре после смерти матери Толстого закончилось мучительное противостояние троих, но узаконить брак любящие смогли только весной 1863 года. Наконец-то стало возможным «больше не держать в тайне... женитьбу на Софье Андреевне». Через четыре года выйдет его единственный прижизненный сборник стихов, где почти вся любовная лирика вызвана ею и посвящена ей.

Стихия любви — мелодичная стихия; больше половины его стихов положено на музыку, зачастую по нескольку раз, Чайковским, Римским-Корсаковым, Мусоргским, Балакиревым, Танеевым, Рахманиновым и еще многими композиторами. Будет в этом сборнике и ставшее песней хрестоматийное стихотворение «Колокольчики мои...» с явными следами оренбургских впечатлений. В Оренбурге он еще побывал дважды: зимой 1851/52 года и летом 1852-го.

В последние годы он тяжело болел, в поисках лечения много ездил: Англия, Франция, Италия, Германия, — но душа была на месте только в родном Красном Яге. Он любил одиночество в весенних лесах — при свете костра и полной луны, и как «потом все просыпается, журавли трубят в горн, утки дуют в трубы, дрозды играют на гобоях, а соловьи — на флейтах».

Богатырь духа, как и его герои, он в своей «таинственной Отчизне» жил любовью: «Думая о тебе, я в твоём образе не вижу ни одной тени, ни одной, всё лишь свет и счастье...» Великий современник философ Карл Лейб называл бы его жизнь героической, и это так. Жизнь героя-писателя состоялась.